

ВИДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

2

- [Владимир Иванович Даль](#)

-

- [notes](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)



Владимир Иванович Даль

Сказка о баранах

(Восточная сказка)

Калиф сидел однажды, как сидят калифы, на парче или бархате, поджав ноги, развалившись в подушках, с янтарем в зубах; длинный чубук, как боровок, проведенный от дымовья печки до устья в трубу, лежал, кинутый небрежно поперек парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжных ножках, с бирюзой и яхонтами, на котором покоилась красная глиняная трубка, с золотыми по краям стрелками, с курчавыми цветочками и ободочками. Пол белого мрамора; небольшой серебристый водомет ^[1] посредине; усыпительный однообразный говор бьющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживал калифу, напевая ему: покойной ночи.

Но калифу не спалось: озабоченный общим благом, спокойствием и счастьем народа, он пускал клубы дыма то в уст, то в бороду, и хмурил брови. Ночь наступила, а калиф и не думал еще о нынешней своей избраннице гарема, и старый беззубый цербер, неусыпной страж красоты и молодости, дряхлый эфиоп, не переступал еще с обычным зовом заветного порога, не растворял широкого раструба безобразных уст своих для произнесения благозвучного имени одного из прелестнейших существ в мире.

Калиф тихо произнес: – «Мелек!» – и раболепный Мелек стоял перед ним, наклонив голову, положив правую руку свою на грудь. Калиф, молча и не покидая трубки, подал пальцем едва заметный знак, и Мелек стоял уже перед повелителем своим с огромным плащом простой бурой ткани и с белой чалмой, без всяких украшений, в руках. Калиф встал, надел белую простую чалму, накинул бурый плащ, в котором ходит один только простой народ, и

вышел. Верный Мелек, зная обязанность свою, пошел украдкой за ним следом, ступая как кошка и не спуская повелителя своего с глаз.

Дома в столице калифа были все такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали с прохожими по улице, возвысив несколько голос. Прислонившись ухом к простенку, можно было слышать все, что в доме говорится и делается. Вот зачем пошел калиф.

«Судья, казы [2], неумолим», – жаловался плачевный голос в какой-то мазанке, похожей с виду на дождевик, выросший за одну ночь. «Казы жесток: бирюзу и оправу с седла моего я отдал ему, последний остаток отцовского богатства, и только этим мог искупить жизнь свою и свободу. О, великий калиф, если бы ты знал свинцовую руку и железные когти своего казы, то бы заплакал вместе со мною!»

Калиф задумчиво побрел домой: на этот раз он слышал довольно. «Казы сидит один на судилище своем – размышлял калиф, – он делает, что хочет, он самовластен, может действовать самоуправно и произвольно: от этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощников, которые свяжут произвол его; надобно поставить и сбоку, рядом с ним, наблюдателя, который поверял бы все дела казы на весах правосудия и доносил бы мне каждодневно, что казы судит правдиво и беспристрастно».

Сказано – сделано; калиф посадил еще двух судей, по правую и по левую руку казы, повелел называться этому суду судилищем трех правдивых мужей; поставил знаменитого умму [3], с золотым жезлом, назвав его калифским приставом правды. – И судилище трех правдивых сидело и называлось по воле и фирману [4] калифскому; и свидетель калифский, пристав правды, стоял и доносил каждодневно: все благополучно.

«Каково же идут теперь дела наши?» – спросил калиф однажды у пристава своего, «творится ли суд, и правда, и милость, благоденствует ли народ?».

– Благоденствует, великий государь, – отвечал тот, – и суд, и правда, и милость творится, нет бога кроме бога и Мохаммед его посол. Ты излил благодать величия, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученные палящим зноем, обнаженные главы народа твоего; живительные капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданных твоих на произрастание дерева, коего цвет есть

благодарность, признательность народа, а плод – благоденствие его, устроенное на незыблемых основаниях на почве правды и милости.

Калиф был доволен, покоясь опять на том же пушистом бархате, перед тем же усыпляющим водометом, с тем же неизменным янтарным другом в устах, но речь пристава показалась ему что-то кудреватую; а калиф, хоть и привык уже давно к восточной яркости красок, запутанности узоров и пышной роскоши выражений, успел, однако же, научиться не доверять напыщенному слову приближенных своих.

– Мелек! – произнес калиф, и Мелек стоял перед ним, в том же раболепном положении. Калиф подал ему известный знак.

– Удостой подлую речь раба твоего, – сказал Мелек, – удостой, о, великий калиф, не края священного уха твоего, а только праха, попираемого благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидеть здесь, в покое.

– Говори, – отвечал калиф.

– О, великий государь, голос один: народ, верный народ твой вопиет под беззащитным гнетом. Когда был казы один, тогда была у него и одна только, собственная своя, голова на плечах; она одна отвечала, и он ее берег. Ныне у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они разделили страх на четыре части и на каждого пришлось по четвертой доле. Мало было целого, теперь еще стало меньше. Одного волка, великий государь, кой-как насытить можно, если иногда и хватит за живое, – стаи собак не насытишь, не станет мяса на костях.

Калиф призадумался, смолчал, насупил брови, и чело его сокрылось в непроницаемом облаке дыма. Потом янтарь упал на колени. Калиф долго в задумчивости перебирал пахучие четки свои, кивая медленно головою.

«Меня называют самовластным, – подумал он, – но ни власти, ни воли у меня нет. Голова каждого из негодяев этих, конечно, в моих руках; но, отрубивши человеку голову, сократишь его, а нравственные качества его не изменишь. Основать добро и благо, упрочить счастье и спокойствие каждого не в устах раболепных блюдолизов моих, а на самом деле, – это труднее, чем пустить в свет человека без головы. Перевешать подданных моих гораздо легче, чем сделать их честными людьми; попытаюсь однако же; надобно ограничить еще более

самоуправство, затруднить подкуп раздроблением дел, по предметам, по роду их и другим отношениям, на большее число лиц, мест и степеней; одно лицо действует самопроизвольно, а где нужно согласие многих, там правда найдет более защиты.

И сделалось все по воле калифа: где сидел прежде и судил и рядил один, там сидят семеро, важно разглаживают мудрые бороды свои, замысловатые усы, тянут кальян и судят и рядят дружно. Все благополучно.

Великий калиф с душевным удовольствием созерцал в светлом уме своем вновь устроенное государство; считал по пальцам, считал по четкам огромное множество новых слуг своих, слуг правды – и радовался, умильно улыбаясь, что правосудие нашло в калифате его такую могучую опору, такой многочисленный оплот против зла и неправды.

– Еще ли не будут счастливы верные рабы мои, – сказал он, – ужели они не благоденствуют теперь, когда я оградил и собственность и личность каждого фаудтами [5], то есть целыми батальонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зеркало правосудия от туску и ржавчины? Тлетворное дыхание нечистых не смеет коснуться его; я вижу: зеркало отражает лучи солнечные в той же чистоте, как восприяло их».

Опять позвал калиф Мелека, опять сокрылся от очей народа в простую чалму и смурый охобень [6], опять пошел под стенками тесных, извилистых улиц; часто и прилежно калиф прикладывал чуткое ухо свое к утлым жилищам верноподданных – и слышал одни только стенания, одни жалобы на ненасытную корысть нового сонма недремлющих стражей правосудия.

– Растолкуй мне, Мелек, – сказал калиф в недоумении и гневном негодовании, – растолкуй мне, что это значит? Я не верю ушам своим; быть не может!

– Государь, – отвечал Мелек, – я человек темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощупаю. Позволь мне привести к тебе старого Хуршита – он жил много, видал много; слово неправды никогда не оскверняло чистых уст его, он скажет тебе все.

– Позови.

Хуршит вошел. Хуршит из черни, из толпы, добывающий себе насущное пропитание кровным потом.

– Хуршит, что скажешь?

– Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосок в горах молчит, не смеет откликнуться.

– Скажи мне прямо, смело, – но говори правду – когда было лучше: теперь или прежде?

– Государь, – сказал Хуршит, после глубокого вздоха: – при отце твоём было тяжело. Я был тогда овчарником, как и теперь, держал и своих овец. Что, бывало, проглянет молодая луна на небе, то и тащишь на плечах к казыю своему барана: тяжело было.

– А потом? – спросил калиф.

– А потом, сударь, стало еще тяжелее: прибавилось начальства над нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечах своих по два барана.

– Ну, а теперь, говори!

– А теперь, государь, – сказал Хуршит, весело улыбаясь, – слава богу, совсем легко!

– Как так? – вскричал обрадованный калиф. Хуршит поднял веселые карие глаза свои на калифа и отвечал спокойно:

– Гуртом гоняем.

notes

Примечания

Впервые – в сборнике «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый СПб., 1832. Тип. Плюшара».

Сборник начинался предисловием, которое затем было перепечатано в Собрании сочинений В. И. Даля (т. VIII, 1861 г.):

«Где наши головы масляные, узорчатые, бороды чесаные, мухорчатые, усики витые бахромчатые. Где кафтаны смурые бархатные, шляпы бурые поярковые, кушаки шелково-бухарские, армяки татарские, рубахи щегольские красные, рукавицы вырестковые, тисненные, шаровары полосатые, сапоги с каймою строченые, на рубахах запонки граненые, на кафтанах застежки золоченые? Ой, было, было время на Руси, что ходил молодец в кафтане, ходила девка в сарафане!

Люди добрые! Старые и малые, ребятишки на деревянных кониках, старички с клюками и подпорками, девушки, невесты русские! Идите, стар и мал, слушать сказки чудные и прихотливые, слушать были-небылицы русские! А кто знает грамоте скорописной великороссийской, садись пиши, записывай, набело семь раз переписывай, знай помалчивай, словечка не роняй! Из каждого листа выходит тридцать две обертки на завитки нашим барышням-красавицам; ополчитесь, доблестные сыны отечества, да не посрамям земли своя! Полно девицам-невестам нашим ходить-носить кудри вязаные-сырцовые, плетеные-шелковые; у нас на Руси и собачка каждая в своей шерсти ходит, а косы русские мягче шелку шемаханского, чище стекла богемского! Пишите, молодцы задорные, пишите и печатайте вирши в альбомы, в альманахи, пишите по-заморскому, так скоро из матушки России пойдет вывоз черновой бумаги за море в чужие края!

А вы, вычурные заморские, переводня семени русского, вы, хватые голосистые, с брызгами да жаботами, с бадинками да с витыми тросточками, вы садитесь в дилижансы да поезжайте за море, в

модные магазины; поезжайте туда, отколе к нам возит напоказ ваша братия ученых обезьян; изыдите; не про лукавого молитва читается, а от лукавого. Аминь»...

Сборник с этими сказками был вскоре после выхода в свет конфискован и теперь является библиографической редкостью.

Впервые – «Москвитянин», 1845, т. XLI, № 8, за подписью – *Луганский*.

Белинский характеризовал это произведение, как «коротенький, но исполненный глубокого значения восточный аполог» (ст. «Русская литература» в 1845 году).

1

Водомер – фонтан.

2

Казы(кади) – судья.

3

Умму– праведный, правоверный.

4

Фирман – указ.

5

Фаудтам— очень, сильно.

6

...*смурый охобень* (охабень) – плащ, свитка из некрашеного сукна.